

Баррет Микс узрел небесный свет над Центральным парком четыре дня спустя после того, как был в очередной раз брошен. Любовь и прежде, разумеется, награждала его оплеухами, но никогда еще они не имели форму пяти строчек текста, при том что пятая состояла из убийственно формального пожелания удачи и завершалась тремя строчными иксами, типа поцелуйчиками.

Четыре дня Баррет изо всех сил старался сохранить присутствие духа перед лицом череды расставаний, которые, как виделось ему теперь, с каждым разом оказывались все немногословнее и прохладнее. Когда ему было двадцать-двадцать пять, его романы обычно завершались рыданиями и шумными ссорами, будившими соседских собак. Однажды у них с без пяти минут бывшим возлюбленным дошло до кулачной драки (у Баррета по сю пору стоит в ушах грохот опрокинутого стола и не-

ровный стук, с каким мельничка для перца пока- тилась по половицам). В другой раз была громкая перебранка посреди Барроу-стрит, разбитая в сердцах бутылка (при слове “влюбиться” Баррет до сих пор с неизбежностью вспоминает осколки зеленого стекла, поблескивающие на асфальте в свете уличного фонаря) и старушечий голос — ровный и нескандальный, какой-то устало-материнский, — раздавшийся откуда-то из темноты первых этажей: “Ребятки, здесь же люди живут, и им спать хочется”.

После тридцати и дальше, ближе к сорока, расставания стали напоминать переговоры о расторжении деловых отношений. Боли и взаимных упреков хватало по-прежнему, но надрыва заметно поубавилось. Да, мол, что поделаешь — мы возлагали на совместные инвестиции большие надежды, но они, увы, не оправдались.

Этот последний разрыв, однако, был первым, о котором он узнал из эсэмэски, неожиданных и нежеланных прощальных слов, всплывших на экране размером с кусочек гостиничного мыла. *Баррет привет ты сам наверно все уже понял. Мы ведь сделали уже все что от нас зависело?*

Баррет, собственно, не понял ничего. До него, естественно, дошло — любви больше нет, как нет и подразумевавшегося ею будущего. Но вот это *ты сам наверно все уже понял...* Все равно как если бы дерматолог сказал тебе непринужденно после рутинного ежегодного осмотра: *вы, наверно, уже сами поняли, что вот эта вот родинка на щеке, это оча-*

ровательное темно-шоколадное пятнышко, которое, как многие справедливо считают, только добавляет вам привлекательности (не помню, кто это мне рассказывал, что Мария-Антуанетта рисовала себе мушку точно на том же самом месте?), так вот, эта родинка — это рак кожи.

Ответил Баррет тоже эсэмэской. И-мейл, он решил, выглядел бы в этой ситуации слишком старомодно, а телефонный звонок — чересчур драматично. На крошечной клавиатуре он набрал: *Как-то это внезапно, может нам лучше встретиться поговорить. Я на месте, xxx.*

К концу второго дня Баррет успел отправить еще две эсэмэски и оставить два голосовых сообщения. Следующую за вторым днем ночь он боролся с желанием оставить еще одно. К вечеру третьего дня он не только не получил ответа, но и начал осознавать, что ждать бессмысленно; что ладно сложенный канадец, аспирант-психолог из Колумбийского университета, с которым Баррет пять месяцев делил постель, стол и шуточные беседы, мужчина, сказавший: “Видно, все-таки я тебя люблю”, когда Баррет, сидя в одной с ним ванне, прочитал наизусть *Ave Maria* Фрэнка О’Хары, и знавший, как называются все деревья в Адирондакских горах, где они вместе провели тот уик-энд, — что этот человек пошел дальше своим путем, уже без него; что Баррет остался стоять на платформе, недоумевая, как это он умудрился не успеть на поезд.

Желаю тебе счастья и удачи в будущем. xxx.

Вечером четвертого дня Баррет шел через Центральный парк, возвращаясь от дантиста, визит к которому, с одной стороны, угнетал его своей банальностью, но зато, с другой, мог сойти за проявление мужества. Избавился от меня пятью пустыми и обидно безличными строчками — ну и пожалуйста! (*Очень жаль, что у нас не получилось, но мы ведь оба сделали все, что от нас зависело.*) Не стану же я из-за тебя пренебрегать уходом за зубами. Лучше я узнаю — с радостью и облегчением узнаю, — что на данный момент в депульпации корневого канала необходимости нет.

И тем не менее мысль о том, что ему больше никогда не принесет радости чистое и беззаботное очарование этого парня, так похожего на юных, гибких и невинных атлетов с восхитительных картин Томаса Икинса; что ему никогда больше не видеть, как, перед тем как лечь, он стягивает с себя трусы, как невинно восторгается приятными пустяками вроде сборника Леонарда Коэна, который Баррет записал для него на кассету и назвал “Почему бы тебе не покончить с собой”, или победы “Нью-Йорк рейнджерс”, — мысль эта казалась ему абсолютно невозможной, противоречащей всем законам физики любви. Несовместим с ними был и тот факт, что Баррету, скорее всего, так никогда и не узнать, что же всему виной. В последний месяц или около того у них несколько раз вспыхивали перепалки, случались неловкие паузы в разговоре. Но Баррет объяснял это для себя тем, что их отно-

шения вступают в новую фазу, видел в мелких размолвках (“Хоть иногда можно постараться не опаздывать? Почему я должен отдуваться за тебя перед своими друзьями?”) признаки крепнущей близости. Он даже отдаленно не мог вообразить, как в одно прекрасное утро обнаружит, проверив входящие эсэмэс, что любви конец и ее не жалче, чем пару потерянных солнечных очков.

Тем вечером, когда ему было явление, Баррет, обнадеженный благополучным состоянием корневого канала и клятвенно пообещавший еще регулярнее использовать зубную нить, пересек Большую лужайку и уже подходил к залитому светом айсбергу музея “Метрополитен”. С деревьев капало, Баррет с хрустом продавливал подошвами серебристо-серый наст, срезая напрямую к станции шестой линии подземки, и радовался, что скоро окажется дома с Тайлером и Бет, радовался, что они его ждут. Все его тело онемело, словно от новокаинового укола. Голову занимала мысль, не превращается ли он к своим тридцати восьми годам из героя трагической страсти, из юродивого ради любви в менеджера среднего звена, который, провалив одну сделку (да, компания понесла некоторый урон, но отнюдь не катастрофический), принимается за подготовку следующей, возлагая на нее не меньшие, разве что чуть более реалистичные надежды. Ему больше не хотелось подниматься в контратаку, наговаривать часовые сообщения на автоответчик, подолгу выстаивать на страже у подъезда быв-

шего возлюбленного, притом что десять лет назад он все это непременно проделывал — Баррет Микс был стойким солдатом любви. А теперь он старел и терпел утрату за утратой. Даже сподобься он на жест ярости и страсти, то оказалось бы, что он всего лишь хочет утаить, что он банкрот, что окончательно сломлен, что... послушай, брат, мелочью не выручишь?

Баррет шагал, низко склонив голову — не от стыда, а от усталости; она как будто была слишком тяжела, чтобы нести ее прямо. На снегу перед глазами мелькала его собственная голубовато-серая тень, она скользнула по сосновой шишке и по рунической россыпи сосновых иголок, по блестящей обертке от шоколадного батончика “О, Генри!” (разве их до сих пор выпускают?), с шуршанием уносимой порывом ветра.

В какой-то момент микроландшафт у него под ногами — слишком студеной и прозаичный — утомил Баррета. Он поднял тяжелую голову, посмотрел вверх.

И увидел лучащуюся бледным, неверным светом зеленовато-голубую вуаль; она зависла на высоте звезд, или нет, все-таки пониже, но все равно высоко, выше проплывавшей над силуэтами деревьев светящейся точки спутника. Сияющая вуаль то ли медленно увеличивалась, то ли нет; ярче посередине, она бледнела к рвано-кружевным краям.

Баррет решил было, что видит приблудившееся северное сияние, не самое частое зрелище в Цен-

тральном парке, но, пока он стоял на протянувшейся по льду полоске света от фонаря, горожанин в пальто и шарфе, печальный и разочарованный, но в остальном вполне заурядный, пока смотрел на небесный свет, о котором, думал он, сейчас рассказывают в новостях по всем каналам, пока прикидывал, что лучше — любоваться диковинкой в одиночку или пойти остановить прохожего, чтобы удостовериться, что тот тоже видит этот свет, — вокруг были другие люди, черные силуэты, расставленные там и тут по Большой лужайке...

Он стоял так, оцепенев от неопределенности, в желтых “тимберлендах”, и вдруг понял — точно так же, как он смотрит на небесный свет, тот сверху смотрит на него.

Нет, не смотрит. *Созерцает*. Как, представилось ему, кит может созерцать пловца — со степенно-царственным и абсолютно бесстрашным любопытством.

Он чувствовал на себе внимание этого света — оно передалось ему коротким электрическим импульсом; несильный ток приятно пронизал его тело, согрел и даже как будто осветил его изнутри, отчего кожа стала светлее, чем была, — ненамного, на тон или два; она флуоресцировала, но очень естественно, без синевато-газовых оттенков, а как если бы несомый кровью свет чуть прихлынул к коже.

А потом свет рассеялся — рассыпался в стайку бело-голубых мерцающих искр, которые казались живыми, словно это было игривое дитя флегматич-

ного исполина. Потом и искры померкли, и небо снова стало таким, каким бывает всегда.

Баррет еще немного постоял, глядя в небо, как на экран телевизора, который внезапно погас, но еще может каким-то чудом включиться вновь. Небо, однако, демонстрировало лишь привычную свою подпорченную тьму (огни Нью-Йорка замазывают ночную черноту серым) да редкую россыпь самых ярких звезд. И Баррет двинулся дальше, домой, где в скромном уюте бушвикской¹ квартиры его ждали Бет и Тайлер.

А что еще, собственно, ему было делать?

1 Бушвик — район в Бруклине, на границе с Квинсом. — *Здесь и далее — прим. перев.*